

«ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ ГРОБАМ»: СНЫ ЭМИГРАЦИИ И СОН БЕРБЕРОВОЙ

Павел Успенский, Артем Шеля
(Гарту)

Для психолога сон — сложный феномен человеческого сознания, которое может осмысляться как в теоретическом, так и в практическом ключе, если речь идет о терапии. Во втором случае сон не воспринимается как законченный текст, а используется как набор улик, позволяющих выявить его глубинную связь с кругом мыслей и проблем человека. Одновременно сновидения могут быть рассмотрены и в филологической оптике как текст, в котором пересекаются различные культурные и литературные традиции. Применение такого подхода закономерно и особенно интересно в тех случаях, когда обнародованные сны насыщены литературными темами и контекстами. Механизмом их дешифровки в таком случае может становиться язык культуры.

Сон как текст, появляющийся в определенных исторических условиях, часто испытывает сильное влияние синхронной социально-политической ситуации. Здесь особо выделяются сновидения кризисных эпох, идет ли речь о временах Великой французской революции или о сталинском терроре 1930-х гг. [Corbin: 513–520; Паперно, с ук. лит-ры]. К списку переломных исторических моментов можно отнести и ситуацию эмиграции, с той лишь оговоркой, что устройство диаспоры внешне имитирует «нормальную» жизнь, не предполагающую атмосферу постоянной опасности, террора и карательного вмешательства в частную жизнь. Но, по сути, эмиграция, возникшая вследствие социально-политической катастрофы, является «хроническим» состоянием многочисленных сообществ, а ее влияние на повседневную жизнь вполне сопоставимо с влиянием катастрофических событий на человеческую психологию. Растянутая на долгие годы и рассеян-

ная в повседневном существовании травма эмиграции может спонтанно реализовываться в снах диаспоры¹.

В текстах эмиграции следует разделять сны как литературный мотив и реальные свидетельства о сновидениях, зафиксированные в эго-документах². В первом случае отчетливо выделяется топос снов, в которых реализуется тоска по родине и перемещение в пространство дореволюционной России. Ср., например, начало стихотворения И. Бунина «Все снится мне заросшая травой, / В глуши далекой и лесистой, / Развалина часовни родовой» (1922) [Бунин: 15], «Родину» (1927) В. Набокова («Но где бы стезя ни бежала, / Нам русская снилась земля...») [Набоков II: 556] и строки Д. Кнута: «О том, что ночью снится мне Россия, / К которой днем дороги не найду?» («Ты вновь со мной — и не было разлуки...»; 1932) [Кнут: 9].

Одновременно тема сновидения может быть впаяна в процесс воспоминания и в грезы о прошлом (см. подробнее: [Тименчик]). Экспозиция «Петербурга» (1923) Набокова представлена состоянием полусна-полуфантазии лирического героя: «Мне чудится в Рождественское утро / Мой легкий, мой воздушный Петербург...» [Набоков I: 597]. Ср. сонет Г. А. Голохвастова с характер-

¹ Впрочем, и сама эмиграция для самоописания могла использовать метафору тяжелого сна (который когда-нибудь должен кончиться). См., например, свидетельство некоего П. Ш.: «То, что происходит теперь, только кошмар, только испытание судьбы, а жизнь, настоящая жизнь, начнется только тогда, когда кончатся эти горькие дни изгнания» [ГЭ: 5].

Наделение яви чертами сна в эмиграции было характерно и для Ремизова с его знаменитыми сновидениями о литераторах. В приписываемой Ходасевичу реплике в адрес писателя, прочитывается нежелание подобного изменения реальности: «я запрещаю вам видеть меня во сне» [Терапиано: 107].

Конкретные сны Ремизова, Впрочем, мы оставляем за скобками нашей работы. Писатель занимался ими еще в дореволюционное время как специфическим жанром, строящимся не столько на достоверной передаче сна, сколько на его свободном конструировании и попытке воссоздать в литературе онирическую поэтику. См. подробнее: [Цивьян; Обатнина: 170–184].

² За пределами нашей темы остаются мотивы сна в эмигрантском кинематографе. См. об этом: [Нусинова].

ным названием «Воспоминание»: «Ах, сон ли!.. Догорал зари разлив янтарный; / Прозрачные сады дымились мглой живой, / И летний вечер плыл, чуть вея над Невой» [Голохвастов: 29]. В этих стихах проявляются характерные для русской литературы мотивы призрачности города, которые только усиливаются в контексте воображаемого перемещения эмигранта на уже несуществующую родину. Подобное происходит и в стихотворении Г. Иванова «Январский день. На берегу Невы...» (1922): «Все, кто блистал в тринадцатом году — / Лишь призраки на петербургском льду» [Иванов I: 28]. Призрачный поезд, идущий в Россию прошлого и, соответственно, в воспоминания, появляется в стихах В. Булич: «Идет он в потерянную страну, / За черту, в мечту, в глубину. <...> Но тихо войду я, как входят в сон, / В отраженный последний вагон» («Зеркальный вечер лежит на водах...») [На Западе: 276]. Онирическое видение прошлого характерно также и для прозаических жанров. См., например, в беллетризованных мемуарах того же Иванова «Петербургские зимы», поэтика которых разворачивается как поэтика художественного текста (см.: [Lazzarin, с ук. лит-ры]): «Есть воспоминания, как сны. Есть сны — как воспоминания. <...> Воспоминания? Сны? Какие-то лица, встречи, разговоры <...>. И опять — стеклянная мгла, сквозь мглу — Нева и дворцы...» [Иванов III: 119]. Сон-воспоминание был, вероятно, настолько общим местом в дискурсе эмиграции, что уже в 1924 г. Саша Черный в стихотворении «Эмигрантские сны» [Черный: 251–253] описывает эту тему в ироническом ключе.

Впрочем, сны в эмигрантской литературе не всегда были так предсказуемы. В романе Набокова «Машенька» (1926) встречается иной тип сна, в котором возвращение в Россию не является возвращением в идеализируемое дореволюционное прошлое:

Иду по Невскому, знаю, что Невский, хотя ничего похожего. Дома косями углами, сплошная футуристика, а небо черное, хотя знаю, что день. И прохожие косятся на меня. Потом переходит улицу человек и целится мне в голову. Я часто это вижу. Страшно, — ох, страшно, — что когда нам снится Россия, мы видим не ее прелесть, которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится и пахнет концом мира [Набоков II: 105].

Те же мотивы явно повторяются в стихотворении «Расстрел» (1927): «Бывают ночи: только лягу, / В Россию поплывет

кровать; / И вот ведут меня к оврагу, / Ведут к оврагу убивать» [Набоков II: 551].

Рассмотренные мотивы сна интегрированы в художественное произведение и в онирическую литературную традицию и потому не являются свидетельствами о сновидениях как таковых. Тем не менее, нельзя исключать, что в основе текстов мог быть эмпирический опыт авторов, а сам литературный дискурс в какой-то степени повторял дискурс повседневности.

В тех снах, которые были зафиксированы в эго-документах, влияние ситуации эмиграции проявляется подчас сильнее и ярче. Конечно, далеко не каждый эмигрантский сон испытывает влияние именно текущего социально-политического положения. Так, например, едва ли может быть прочитан в таком ключе сон Г. Адамовича о карточной игре (в которой вдруг возникает новая масть) [Яновский: 41] или сон В. Ходасевича, приснившийся осенью 1930 г.: «Видел во сне, будто Гукасов <владелец «Возрождения». — П. У., А. Ш.> устроил тир из живых детей и подстрелил одного мальчика. Еще видел царевича Алексея. Одним словом — мальчики кровавые в глазах» [Ходасевич 1991: 273].

Эмигрантам, однако, снились и другие сны. В. Яновский в мемуарах типизировал определенные сновидческие темы 1920–1930-х гг. и сообщал о снах, характерных для всей парижской диаспоры:

Грозные предчувствия начались давно, когда Гитлер, быть может, еще упражнялся в живописи. Нам снилось: по каким-то неясным соображениям надо покинуть Париж! И мы просыпались, содрогаясь от слез. Дополнительно нас мучил еще другой кошмар: почему-то очутились на родине... И вместе со слезами умиления холодное отчаяние: это непоправимая, роковая беда! [Яновский: 105]

Подобные сны отражают ожидание политических катастроф и нестабильность положения эмигранта: место его пребывания порождает чувство тревоги, а желанное возвращение на родину воспринимается все же как прямая опасность.

В снах людей, далеких от литературных кругов, обнаруживается простая метафорика, вскрывающая болевые точки положения эмигранта. Р. Гуль зафиксировал сновидение донского казака Ивана Никитича, чьи дети погибли в войну, а жена пропала без вести. Сон отражает, с одной стороны, стремление вернуться на

родину и, соответственно, к прежней жизни, но с другой стороны, оказывается, что ландшафт родной станицы навсегда изменился. Теперь это пространство мира мертвых, в которое для Ивана Никитича пока нет доступа:

— А на прошлой неделе вот опять сон снился, и опять не знай к чему, — вдруг говорит Иван Никитич, — вижу, будто вместо нашей станицы вроде как какие-то цементные домики понастроены, квадратные такие, без окон, без дверей, и вижу жену с сыном и хочу их догнать, а они всё уходят, а я им кричу: «Да куда же вы! Пойдите! Марья!» А она не отвечает, идет. Потом дошла до одного такого цементного домика, а там как вроде дверь какая открылась, она с порога повернулась ко мне, махнула рукой, вроде как «не надо, мол, мне тебя», и взошла туда; подбегаю я к этому самому домику, а никакой двери найти не могу [Гуль: 368–369].

Сопряжение мотива возвращения на родину с темой смерти проявляется и в сновидении М. Цветаевой. В конце апреля 1939 г., за несколько месяцев до своего возвращения в СССР, она записывает в дневнике свой сон (цитату приводим с сокращениями):

Иду вверх по узкой тропинке горной — ландшафт св. Елены: слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. Навстречу — сверху лев. Огромный <...> Крещу трижды. Лев <...> проползает мимо со стороны пропасти. Иду дальше. Навстречу — верблюд — двугорбый. <...> Крещу трижды. Верблюд перешагивает (я под сводом: шатра: живота). Иду дальше. Навстречу — лошадь. <...> Крещу трижды. И — лошадь несется по воздуху — надо мной. <...>

И — дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед — голова отрывается. Подо мной города... сначала крупные, подробные (бег спиралью), потом горстки белых камешков. Горы — заливы — несусь неудержимо; с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара, и страстно — и безнадежно! — за него держусь, зная, что очередной круг будет — вселенная: та полная пустота, которой так боялась в жизни: на качелях, в лифте, на море, внутри себя.

Было одно утешение: что ни остановить, ни изменить: роковое. И что хуже не будет [Цветаева: 608].

Не вдаваясь в интерпретацию этого сна, мы можем предположить, что он напрямую связан с эмиграцией Цветаевой и скорым ее возвращением. Само место действия — остров св. Елены — задает тему пожизненного изгнания. Поэтому героиня не может

вернуться на родину: горная тропинка превращается в «дорогу на тот свет», чудесное всеислие, спасающее от животных, оборачивается пассивностью и боязнью (героиня держится за земной шар), а пространственное перемещение оказывается смертью («лечу ногами вперед») и растворением в безмерной вселенной. Таким образом, одна из смысловых линий этого сна явно предполагает, что эмиграция — это состояние, которое нельзя преодолеть³.

Особо интересны сны, которыми авторы воспоминаний (т. е. литературы, претендующей на достоверность) считают нужным поделиться. Сновидение в этом случае воспринимается как некоторое важное для мемуарного рассказа сообщение, придающее повествованию дополнительное смысловое измерение. При этом сон может никак не комментироваться и отчасти оставаться загадкой и для самого автора. Именно таким важным и требующим дешифровки нам видится сон Н. Берберовой, на анализе которого мы остановимся подробнее. В книге воспоминаний «Курсив мой» (1960–1966) есть следующий пассаж:

Лет двадцать тому назад я видела сон: я стою в Ленинграде на вокзале и жду поезда из Парижа. Это поезд — товарный, он везет эмигрантские гробы на родину. Я бегу по платформе, медленно тянется длинный состав. На первом вагоне написано мелом: Милюков, Струве, Рахманинов, Шаляпин, на втором: Мережковский, Бунин, Дягилев, еще кто-то. Я спрашиваю: где Ходасевич? Мне показывают рукой в конец поезда. Мелькает вагон с надписью: Шестов, Ремизов, Бердяев. Я все бегу: наконец в последнем вагоне я с бьющимся сердцем вижу его гроб. Почему я так волнуюсь, будто готовлюсь увидеть его самого? С грохотом раздвигаются двери, и десяток железнодорожных служащих подкатывают тележки. «Выгружайте! Выгружайте!

³ Ср. не очень убедительную контекстуальную трактовку этого сна у Е. Айзенштейн [Айзенштейн: 349–362].

Интересно, что уже находясь на корабле, плывущем в Россию, Цветаева использует те же образы (остров Св. Елены, Наполеон в изгнании), но закрепляет их за другим пространством: ее путешествие на родину осмысливается в свете все того же наполеоновского мифа. В любом случае, смысловая доминанта смерти все равно остается. Если во сне остров Св. Елены — это место, из которого можно переместиться только в смерть, то в дневниковой записи — Россия становится тем же островом, на котором суждено умереть. См.: [Цветаева 2001: 446].

ют!» — кричит кто-то за моей спиной. И вдруг я вижу, что рядом с гробом Ходасевича в полутьме товарного вагона стоят еще гроба: Есенина, Цветаевой, Ахматовой... «Почему они здесь? — недоумеваю я. — Это какое-то недоразумение» [Берберова: 338].

Сразу отметим, что сон вспоминается спустя 20 лет. У нас нет никаких оснований не верить в правдивость сообщения Берберовой, тем не менее, к нему стоит отнестись с осторожностью. Даже в том случае, если сон приснился в первой половине 1940-х гг., к моменту его фиксации в начале 1960-х гг. он мог трансформироваться как под влиянием исторических событий, так и вследствие известных механизмов искажения воспоминаний. Поскольку нам не известна синхронная запись, в которой сон был бы зафиксирован, мы проанализируем приведенный текст с учетом того, что сновидение могло конструироваться автором одновременно из двух исторических контекстов — 40-х и 60-х гг.

Если рассматривать этот сон как набор улик и пытаться предложить некоторое психологическое объяснение, то, вероятно, смысловой контур сна выглядел бы следующим образом. В этом сюжете Ходасевич семантически связан с поэтами-самоубийцами — Есениным и Цветаевой (появление Ахматовой требует объяснения, которое мы дадим ниже; пока отметим, что у Берберовой были основания соединить эти три имени в одном контексте). Неожиданное сближение поэтов находит параллель в той же книге воспоминаний. Как известно, Берберова подробно описала психологическое состояние Ходасевича, когда он понял, что стал невозвращенцем: «Я не могу оставить Ходасевича больше чем на час: он может выбраться в окно, может открыть газ. <...> я не могу бросить его одного в квартире» [Там же: 263]. И в другом месте: «Я видела, как он в эти минуты строит свой собственный “личный” или “частный” ад вокруг себя <...>. Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России, — и умоляет меня умереть вместе с ним» [Там же: 258].

Очевидно, что возможное самоубийство Ходасевича было для Берберовой постоянным испытанием и предметом непрекращающихся тревог. Даже в описании разлуки с поэтом сохраняется опасение за его жизнь и повторяются мотивы возможного само-

убийства. В хронике расставания Берберова подробно объясняет внутренне причины, побудившие ее к поиску новой жизни, но ничего не говорит о своих тяжелых чувствах. Хотя они должны были следовать из сложившейся модели отношений — слабый, больной, но великий поэт, который никак не может справиться с ролью эмигранта, и молодая сильная женщина, которая в значительной степени берет на себя ответственность и за него, и за совместную жизнь. Это предполагаемое чувство вины из мемуаров явно вытесняется, но знаки его присутствия считаются в повествовании <курсив наш. — П. У., А. Ш. >:

Теперь я знала, что уйду от него <...> Я должна была уйти ни к кому, чтобы не нанести ему слишком большой обиды. <...> Я оставила в квартире все, как было. <...> Он стоял у открытого окна и смотрел вниз, как я уезжаю. Я вспомнила, как, когда я снимала эту квартиру, я подумала, что нам опасно жить на четвертом этаже, что я никогда не буду за него спокойна. Но его внимание было в последние дни обращено в другую сторону: нынче днем он сказал мне, зайдя на кухню (где я варила ему борщ на три дня): — Не открыть ли газик?

Теперь, в открытом настежь окне, он стоял, держась за раму обеими руками, в позе *распятого*, в своей полосатой пижаме.

Был конец апреля 1932 года.

Я нашла комнату в Отель де Министер... [Берберова: 397–398]

В сознании современников история отношений Ходасевича и Берберовой, однако, упрощалась, в результате чего устанавливались прямые причинно-следственные связи между расставанием и смертью поэта. См., например, письмо С. П. Постникова к Р. В. Иванову-Разумнику (май 1942): «И все-таки жаль мне Ходасевича. Берберова Нина <...> оставила его, и он умер в больнице» [Иванов-Разумник: 208]. Взгляд со стороны мог влиять на точку зрения самой Берберовой. По всей видимости, весь комплекс чувств, связанный с самоубийством, расставанием и виной, нашел воплощение в разбираемом сне, причем в нем будто бы реализуется худший из возможных сценариев. Таким образом, вытесненная вина проявляется в сновидении и может определять спектр эмоций героини (волнение, недоумение). Конечно, это только гипотетическое толкование, поскольку истинный круг ассоциаций Берберовой в связи с этим сном нам никогда не будет доступен.

Приведенный сон интересен также как герметичный текст, который аккумулирует культурные контексты и продуцирует новые смыслы.

Прежде всего, поэтика его отличается кинематографичностью происходящего и тождественна поэтике новеллы с ее неожиданным финалом-пуантом — последний вагон, в котором Берберова видит гроб Ходасевича, неожиданно смещает семантику сна (эмигрантский поезд становится еще и поездом великих поэтов метрополии).

В начале сновидения, по-видимому, монтируются сразу несколько ассоциативных полей. Во-первых, тема возвращения эмигрантов на родину может быть связана со случаями репатриации как в довоенное, так и в послевоенное время, когда идея «возвращенчества» стала широко распространенной. Во-вторых, здесь же проявляется характерное представление эмигрантов о том, что возврат на родину тождественен смерти. С этим феноменом мы уже сталкивались, когда анализировали сны Ивана Никитича и Цветаевой. Подобная берберовской схема воплощена также в романе Набокова «Подвиг» (1931–1932), в котором возвращение главного героя на родину неизбежно должно обернуться смертью, и отчасти — в его же рассказе «Посещение музея» (1938). В-третьих, «товарный поезд» ассоциируется с военным временем и с воинскими поездами как Первой, так и Второй мировой войны, ко времени которой и относится сон Берберовой.

Поезд с гробами эмигрантов, вероятно, восходит к этому комплексу явлений. Одновременно такое «условное» возвращение цента эмиграции в одном поезде зеркально отражает ситуацию массового изгнания российской интеллигенции в 1922–1923 гг. (только позже это явление было названо «философским пароходом»). Отметим также, что для Ходасевича и Берберовой депортация 1922 г. играла существенную роль, поскольку они считали, что поэт был включен в списки высылаемых.

Само сопряжение железнодорожной темы с умершими деятелями культуры восходит — помимо феномена траурных поездов (один из известнейших прецедентов — похороны Ленина) — к ряду писательских смертей, важных для Серебряного века. Так, в 1910 г. взгляды всей России были прикованы к железнодорожной станции Астапово, где скончался Л. Толстой. Годом раньше на ступенях Царскосельского вокзала в Петербурге умер И. Ан-

ненский. Но, пожалуй, ближе всего к сюжету сна Берберовой оказывается история смерти Чехова: хотя писатель умер на курорте в Германии (1904 г.), его тело было доставлено в Россию в вагоне с надписью «Устрицы». В последнем сюжете важно обратить внимание и на вектор перемещения — гроб пребывает из заграницы. Впрочем, возможно, в данном случае не стоит искать какой-либо конкретный претекст — и сон Берберовой, и оставшиеся в культурной памяти смерти указанных писателей восходят к традиционному для русской литературы сопряжению темы смерти и темы железной дороги.

Принципиально важно отметить, что сон разворачивается в пространстве Ленинграда, а не Петербурга. Это противоречит выделенному выше топосу воспоминания-возвращения в родной город. По всей видимости, здесь реализуется другой комплекс смыслов, порожденных в эмиграции. Речь идет о дискуссиях по поводу исторической роли диаспоры в дальнейшей судьбе России. Ходасевич, чье мнение Берберова не могла не учитывать, неоднократно высказывал мысль, что задача эмиграции — сыграть решающую роль в восстановлении русской культуры, когда диаспора и метрополия объединятся после ожидаемого падения большевиков (см., например, статью «1917–1927» [Ходасевич: 476–479]). Сама Берберова создала своеобразную концепцию роли русской эмиграции, придавая ей скорее провиденциальный, чем исторический смысл: «И если здесь я среди других, — / Я не в изгнании, я в посланьи / И вовсе не было изгнания / Падений не было моих!» [Берберова 1927: 228–229].

Надежды на изменения политического строя СССР реактуализировались с началом войны. Берберова писала Р. Иванову-Разумнику в мае 1942 г.: «Июнь сорокового года, завоевание Франции, оказались пределом нашим. До этого — была одна жизнь, жизнь губернского русского города <...> После этого срока — настало совсем иное <...> Появились надежды — впервые за двадцать лет, и от них все перестроилось в своей внутренней основе» [Иванов-Разумник: 44]. О каких надеждах идет речь, становится понятно из письма Г. Иванова того же времени и тому же адресату: «Что вы думаете делать, когда Вас выпустят из карантина? К тому времени, даст Бог, возьмут Москву, а, может быть, и много подалее, не верю, что большевики могут еще долго держаться, а когда рухнут, то на диком пожарище русской культуры, выиски-

вать черепки и тушить головешки <...> — кто же это может сделать, кроме нас, не погибших в сумасшедшем доме <...> Вот этого я уже годы как жду» [Иванов-Разумник: 31–32].

Опуская сложную динамику отношения эмигрантов к войне (см., например: [МРИС: 7–21]), отметим, что подобные мысли не были исключительными. Сон, таким образом, моделирует перспективную ситуацию возвращения эмигрантской культуры, отражая в искаженном виде представление эмигрантов о своей возможной судьбе.

Поезд, возвращающий гробы эмигрантов на родину, может быть воспринят как модель культуры русской диаспоры, ее сновидческий макет. Поэтому не случайно приводится перечень имен, написанных мелом, — это цвет эмиграции первой волны. Специфическая логика сновидения (или попытка Берберовой ее имитировать, восстанавливая из 60-х гг. набор имен и порядок их появления, вряд ли столь точно хранившийся в памяти на протяжении «лет двадцати») предполагает здесь смещение исторической перспективы, размывающее границы между живым и мертвым. Очевидно, что большинство персонажей подобрано так, чтобы их смерть приходилась в основном на конец 30-х и 40-е гг. Это, в первую очередь, свидетельствует о датировке сна, в котором смерти, в основном, притягиваются к первой половине 40-х, то есть к военному времени. Из этого ряда выбиваются всего несколько людей — раньше умер только Есенин (1925) и Дягилев (1929), позже, в 1953 — Бунин, в 1957 — Ремизов, а в 1966 — Ахматова. Сон Берберовой, таким образом, воспроизводится из двух наложенных временных контекстов, которые, однако, только поддерживают особую организацию пространства сна.

Во сне Берберову удивляет, почему в последнем вагоне Ходасевич оказывается рядом с поэтами не-эмигрантами. Однако чтобы объяснить этот факт, сначала надо понять, почему имена Есенина, Цветаевой и Ахматовой оказываются в таком тесном соседстве. Очевидно, что первые два имени открывают перечень поэтов-самоубийц. В том, что о самоубийстве Есенина было известно в литературных кругах русского зарубежья, сомневаться не приходится, а слухи о гибели Цветаевой дошли до Берберовой уже в феврале 1942 г.: «Слух прошел, что Цветаева повесилась в Москве 11-го августа. “Наше слово” (или “Новое слово”) дало об этом пошлую безграмотную заметку». Добавим, что для автора

мемуаров близость судьбы этих двух поэтов была изначально задана пронизательным наблюдением Ходасевича: «Ходасевич однажды сказал мне, что в ранней молодости Марина Ивановна напоминала ему Есенина (и наоборот): цветом волос, цветом лица, даже повадками, даже голосом. Я однажды видела сон, как оба они, совершенно одинаковые, висят в своих петлях и качаются» [Берберова: 246]. В этой цитате также примечателен тот факт, что самоубийство поэтов для Берберовой оказывается связанным и в контексте сна. Есенин и Цветаева, таким образом, формируют устойчивую смысловую пару.

Самое необъяснимое в тексте сна Берберовой — появление гроба Ахматовой, которая была жива не только в 40-е гг., но и во время написания мемуаров. Конечно, это можно объяснить алогичностью сновидений, но, думается, подобное сближение поэтов было спровоцировано рядом ассоциаций. Поэтическое молчание и изолированность от литературного процесса в 1920–1930-х гг. создавало вокруг имени Ахматовой поле неопределенности, которое, в свою очередь, могло продуцировать слухи за пределами узкого писательского круга. Для самого поэта не было сомнений в том, что ее литературное существование к этому времени прекратилось: «Затем мое имя вычеркнуто из списках живых до 1939 года...» [Ахматова: 201].

Схожее поле неопределенности сопровождало Ахматову в эмиграции. Поскольку о ней ничего не было известно, по-видимому, у многих людей могла возникать мысль о ее смерти: пустое семантическое пространство, связанное с ее именем, заполнялось драматизированными гипотезами. Так, выходец из Российской империи И. Берлин, приехав в 1945 г. в СССР, был удивлен, что поэт жив: «Ахматова была для меня фигурой из далекого прошлого. Морис Баура, переведивший некоторые из ее стихов, говорил, что о ней не было слышно со времен Первой мировой войны. “Ахматова еще жива?” — спросил я» [Берлин: 469].

Подобного рода предположения о смерти Ахматовой перекликаются с эпизодами ее биографии разных лет. Известно, что в 1921 г. циркулировал слух о ее смерти — она «то ли стала жертвой нападений в Петрограде, то ли умерла от переживаний и утрат» [Эвентов: 129]. Обратим внимание, что в первом случае перед нами насильственная смерть, а второй пример можно прочитать как перифраз самоубийства. Сам слух — следствие траги-

ческих событий августа 1921 г., когда умер А. Блок и был расстрелян Н. Гумилев. Он возник в смысловом поле «насилия над поэтом», а его циркуляция объясняется напряженным ожиданием подобных случаев. Именно поэтому в 1922 г. в эмиграции возникает другой слух, будто Ахматова была сослана в Архангельскую область (см. письмо Д. Мирского А. Ремизову 13 ноября 1922: [Хьюз: 347]). На структурном уровне ситуация повторилась в 1946 г.: после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» появился слух о самоубийстве поэта [Коваленко: 189; Ахматова: 200].

Мы точно не знаем, когда и какие слухи доходили до эмиграции, в любом случае, информация, по-видимому, была крайне ограниченной. Неслучайно в 1942 г. Г. Иванов — впрочем, как почти все корреспонденты Р. Иванова-Разумника — интересовался судьбой Ахматовой [Иванов-Разумник: 27]. Для эмиграции самое общее представление о ее советской жизни проявилось в том же 1942 г., когда Иванов-Разумник рассказал о поэте в статье «Задушенные», опубликованной в газ. «Новое слово» (20 сент. 1942 г.; № 75) [Там же: 336–337]. В 1944 г. Берберова неожиданно узнает новые стихи Ахматовой: «Пришел Н. Давиденков, власовец <...>. Долго рассказывал про Ахматову и читал ее никому из нас не известные стихи <...> Это был голос Анны Андреевны, который донесся через двадцать лет — и каких лет!» [Берберова: 496–497]. Мы не знаем весь список услышанных тогда стихов, но те цитаты, которые приводит Берберова — из «Реквиема». Кажется, что после знакомства с этими стихами мысль о возможном самоубийстве автора для эмигранта, живущего совершенно в других условиях, не будет неожиданной. Подобное достраивание судьбы Ахматовой могло базироваться и на ее стихах, и ее биографическом мифе, ср. его вербализацию у Иванова-Разумника: «Анне Ахматовой более идет быть задушенной цензурой, чем преуспевающей» [Иванов-Разумник: 337]. Эта оговорка автора статьи тем более характерна, что русское литературное сознание выделяет поэта именно в контексте его смерти (см. подробнее о стихах: [Левинтон]).

Наконец, не стоит забывать, что семантическая пустота могла заполняться прецедентными историями по смежности, и недавнее самоубийство Цветаевой после возвращения в Советской Союз могло спроецироваться и на Ахматову.

Если сон Берберовой испытал влияние контекста 1960-х гг., то важную роль могло сыграть впечатление автора мемуаров от встречи с поэтом. Встреча произошла в поезде, и весь облик Ахматовой свидетельствовал о близкой смерти:

Я знаю уже, что этим поездом, но в вагоне «Париж–Москва», возвращается в Советский Союз А. А. Ахматова. <...> Потом я иду в вагон. Она сидит в купе неподвижно. Я знаю, что у нее было три инфаркта, два из них на вокзалах. <...> Под моими руками, обнимая ее, я чувствую воду, ее страшное, огромное тело полно не жира, но воды. Она с трудом управляет им <...> На мой вопрос, как она себя чувствует, она отвечает: — Еще жива. Может быть, напрасно она уезжает, может быть, она могла бы еще несколько дней прожить среди нас, в Париже? [Берберова: 600–601]

Здесь ощущение Берберовой, что она видит Ахматову в последний раз, соединяется с темой опасности путешествия по железной дороге (инфаркты на вокзалах) и вообще с отъездом поэта в СССР.

Итак, все указанные контексты «смерти поэта» — вместе или по отдельности — могли участвовать в специфическом расположении гробов в последнем вагоне.

В сновидении возможная смерть Ахматовой связывается в большей степени не с самоубийством как таковым, а со смертью поэта, вызванной страданиями и репрессиями. Таким образом, здесь реализуется миф о пострадавшем поэте, который распространяется также на Есенина и Цветаеву.

Этот миф стирает границы между метрополией и диаспорой: вместо посмертного культурного канона эмиграции во сне формируется канон русской поэзии XX в. «Самоубийца» Ходасевич, соответственно, становится в ряд великих поэтов. Думается, в сновидении происходит и еще одна инверсия. Наиболее известные деятели русской эмиграции, тела которых прибывают первыми, в свете все того же мифа «истинный поэт — пострадавший поэт» уходят на второй план. Иерархия переворачивается, и последний вагон оказывается первым.

Сновидения нередко комбинируют глубинные, скрытые образы и смыслы, которые «дневное» сознание подвергло бы цензуре

и фильтрации. Поэтому сон Берберовой можно воспринимать как сон, актуализирующий наиболее важные, если не сказать болевые точки эмигрантского самосознания. В силу культурной сложности и насыщенности сна создается смысловое поле, в котором трансформируется сообщение о литературном каноне.

ЛИТЕРАТУРА

- Айзенштейн: *Айзенштейн Е.* Сны Марины Цветаевой. СПб., 2003.
- Ахматова: *Ахматова А.* Собрание сочинений: В 6 т. М., 2001. Т. 5.
- Берберова: *Берберова Н.* Курсив мой. Автобиография. М., 1996.
- Берберова 1927: *Берберова Н.* Лирическая поэма // Современные записки. Париж, 1927. № 30. С. 222–231.
- Берлин: *Берлин Исайя.* История свободы. Россия. М., 2001.
- Бунин: *Бунин И.* Собрание сочинений: В 9 т. М., 1967. Т. 2.
- Голохвастов: *Голохвастов Г. В.* Лебединая песня. Несобранное и неизданное. М., 2010.
- Гуль: *Гуль Р.* Я унес Россию: В 3 т. М., 2001. Т. 2.
- ГЭ: Голос эмигранта. Берлин, 1921. № 1.
- МРИС: Между Россией и Сталиным: Российская эмиграция и Вторая мировая война. М., 2004.
- Иванов I–III: *Иванов Г.* Собрание сочинений: В 3 т. М., 1993.
- Иванов-Разумник: Встреча с эмиграцией. Из переписки Иванова-Разумника 1942–1946 годов / Публ., вступит. ст., подгот. текста и коммент. Ольги Раевской-Хьюз. М.; Париж, 2001.
- Кнут: *Кнут Д.* Парижские ночи. Стихи. Париж, 1932.
- Коваленко: *Коваленко С.* Анна Ахматова. М., 2009.
- Левинтон: *Левинтон Г. А.* Смерть поэта: Иосиф Бродский // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб., 1998. С. 190–215.
- Набоков I–V: *Набоков В.* Собрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб., 2002–2009.
- На Западе: На Западе: антология русской зарубежной поэзии / Сост. Ю. П. Иваск. Нью-Йорк, 1953.
- Нусинова: *Нусинова Н. И.* Сновидения в эмигрантском кино 20–30-х годов // Сон — семиотическое окно. XXVI-е Випперовские чтения. М., 1993. С. 78–83.
- Обатнина: *Обатнина Е. А. М.* Ремизов. Личность и творческие практики писателя. М., 2008.
- Паперно: *Паперно И.* Сны террора (сон как источник для истории сталинизма) // Новое литературное обозрение. М., 2012. № 116. С. 227–267.

- Терапиано: *Терапиано Ю.* Встречи. Нью-Йорк, 1953.
- Тименчик: *Тименчик Р. Д.* Петербург в поэзии русской эмиграции // Звезда. 2003. № 10. С. 194–205.
- Ходасевич: *Ходасевич В.* Собрание сочинений: В 8 т. М., 2010. Т. 2.
- Ходасевич 1991: Письма В. Ходасевича к Н. Берберовой. Публ. Д. Бетта // Минувшее. Исторический альманах. 5. М., 1991. С. 228–327.
- Хьюз: «...с Вами беда — не перевести»: Письма Д. П. Святополка-Мирского к А. М. Ремизову (1922–1929). Публикация Роберта Хьюза // Диаспора: Новые материалы. СПб., 2003. Вып. 5. С. 335–402.
- Цветаева: *Цветаева М.* Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994. Т. 4.
- Цветаева 2001: *Цветаева М.* Неизданное. Записные книжки: В 2 т. Т. 2: 1919–1939. М., 2001.
- Цивьян: *Цивьян Т. В.* О ремизовской гипнологии и гипнографии // Серебряный век в России. Избранные страницы. М., 1993. С. 299–338.
- Черный: *Черный Саша.* Собрание сочинений: В 5 т. М., 1996. Т. 2.
- Эвентов: *Эвентов И. С.* Давние встречи: воспоминания и очерки. Л., 1991.
- Яновский: *Яновский В. С.* Поля елисейские: книга памяти. СПб., 1993.
- Corbin: *Cobrin A.* Backstage // A History of Private Life. IV. From the Fires of Revolution to the Great War. Harvard, 1990. P. 451–614.
- Lazzarin: *Lazzarin F.* Фиктивный характер (псевдо)мемуарного текста как эстетическая программа. Еще раз о *Петербургских зимах* Георгия Иванова // Avtobiografija. Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture. Padova, 2012. Vol. 1. P. 101–120. См.: <http://journals.padovauniversitypress.it/avtobiografija/sites/all/attachment/s/papers/01-2012-07-Lazzarin.pdf>